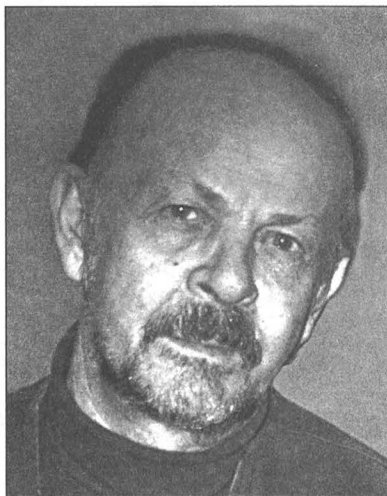


Владимир МАЗАЕВ

ДВА РАССКАЗА СИБИРЯЧКИ

ЧЕРЁМУХОВЫЕ ХОЛОДА



ВЕЛИК ЛИ МОЙ ВЕК, а три войны пережила. Но те – мировую и гражданскую – помню смутно, ре-бёнком была, а вот Отечественную и по пережитью лет вспомню, только ох и скажу...

Посёлок наш Златогорка на озере Оинголь стоял. Озеро Оинголь не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держало – на серёдке дна не доставали. А уж ладное да красивое, я только теперь, из дали лет понимать стала.

Наш берег ярмом обрывался, из мела весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх – луговина, цветы весной на лугу, как заря. По-за луговиной тайга черневая. И на дальнем берегу тайга, да не везде, а гривами. А меж грив, покатыми, – светлые места, покосные.

Только Долгий мыс окидан черёмушным кустарником. Он, черёмушник-то, и зимой, и осенью особенно – чёрный стоит, аж угольный, грач залети – и пропал. Но в мае, когда оцветает, он своё берёт. Сперва дымок, сзелена как бы, потом – пеной, пеной, будто кто взбивает.

С ветром – и запах, а когда прибой, то и цвет выплещивает. Сколько цвету! А до мыса, если на гребях идти, час расстоянья, не меньше.

Зато небо – всему голова. Утром выходишь, прежде кверху гляди. Что небо обещает, тому и быть. И красит всю природу небо тоже, настроение даёт. Оно пасмурное, морочное – и озеро злое, пасмурное. Оно голубое да весёлое – и вода в озере бирюзовая да прозрачная. И тайга небом живёт, его цветом да отблеском дышит.

В Златогорке нашей с довойны ещё промхоз образовался, рыбой да диким мясом, да орехами

17

промышляли. Золотой рудник по договору обеспечивали. Но главное – рыбой.

Местные старожилы хорошо жили, на окнах герани да фикусы, чай пить сядут – стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться грех. Не в капитале, правда, жили, однако ж достаток нашего дому тоже не обходил.

Павлуша мой в рыбацкой бригаде, а я как бы в помощниках. Но это когда дети позволяли. Их к тому троеросло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате – шесть, а младшенькому Мите – три годочка.

Да ещё жил с нами свёкор, древний уже, летом пимов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет: – Пальцы-то не помню каки. Этот вот прихватный (большой, значит), а энтот-то мезенец штоль? – И сокрушится при этом: – Эха, старость, леший бы её не ел.

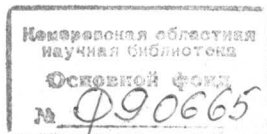
В сорок третьем, по весне, я за него чуток ума не решила. Но да лучше по порядку.

И вот взялась эта проклятая война, мужички наши пошли. Скоро посёлочек осиротел. Павлушу уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал.

Провожали мы его, он ребят перецеловал, меня, говорит: – Смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Всё прошу, а за ребятишек – нет. – И в грузовик впрыгнул, ни слова больше...

Ночь ли две проревела я, шутка ль в деле: один мал, другой меньше, третий ещё меньше. Да ещё свёкор в придачу, по уму ровня троим, за самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь – слёзы-то не песня. Надо жить.

Пополнили бригаду дедками, подростками, меня звали, не пошла. Бригадная работа – по всему дню,



а у меня дети, домашность, куда уж. Решила отойти от всех. Тут я одна, да сама! Договор небольшой подписала, ставные сети мне, тару, всё честь по чести.

А лодка у нас была своя, добротна лодка, выслена, края широки, разливысты, захочешь не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Сетей девять концов выметнула – недалеко, напротив Долгого мысу. Старшенькую с собой посадила, Ольку, поддержать там что, подать, всё подмога.

Поплыли назавтра, одни сетки порожни, в других есть. Две корзины натрясли – сорожки и окуня маленько. Воротились с лёгкой душой, слава Богу, лиха беда начало.

И пошло-поехало. Уловы не шибко щедры были, но ровные. Две-три тони – и на тебе бочонок, а в нём, считай, центнер. Павлуша, не хвальбой будь сказано, увидел бы меня в деле, порадовался: хваткий ему ученик попался!

Однако и осень та первая тихой да робкой выпала, будто заманивала, вихорь её подыми! Уже октябрь – вот он, трава отзябла, северная утка пошла. Вода в озере остеклела, и небушко голубое до самого окоёма. Яснопогодье, словом.

Так-то с яснопогодьем и в зиму ушли.

А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и по льду рыбачат, а я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку послушаешь да что люди говорят – и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и не часто. А получу письмо – подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть. Дак это как в старину: хоть и по любви выходишь, а на свадьбе плачь!

Но – помаленьку обманули зиму, однако запасы порастрясли. Да горевали мало, вера была: одолеют наши в сорок втором году.

Лёд на озере рухнул – я опять за своё. Снасти починила, лодку подконопатила. Здесь уж мне свёкор помог, Савелий Ильич, мастер он был когда-то по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили!

Вот с весной-то и началась моя эпопея, довеку не забыть...

Подымаю раз сетку, она будто с камнями, окуня зеленым-зелено, дявол ему рад, тому окуню. Трясла я трясла, руки отерпнули. Другую – из воды, а там та же прорва. Третью, четвёртую... и кругом окунь, аж рябит, тошно глядеть!

Полдня прохлесталась, руки закровенила, еле дышу. Олька моя на корме сидит, хнычет – есть хочет и околела. А я рыбу в сетях бросить не могу, закостенеет – слезами не выдерешь. Ну – управи-

лась, приплыли, солить давай. Дотемна солила, два бочонка полнёхоньки и ещё себе оставила.

Назавтра плывём, поддеваю шестом первую теву – под ней живая кипень.

Окунь растреклятый! Опять все сети заузрил! А уж одно к одному, ветер посвежел, вздыбил, волна так и ломит, лодку заваливает!

Оинголь наш редко вёснами без волны живёт. Ветра больше – и волны больше. Глянешь – господи! – ключё! По бокам ключё, со всех сторон ключё! Кричу Ольке: – Садись, доча, придерживай на ветер сколь можешь, я трясти буду!

Села она, подгребают, а весло тяжёлое, неухватистое, для её рученок-то. И жилочки на шее, как струнки... Не помню как и опорожнила я сетки, под вторую доску натрясла, лодка огрузнела, чуть было не потопли.

Гребусь домой, сама думаю: куда улов определять, вся тара запростана. Бегу в контору, заявляю: – Где приёмщик, тара нужна, пусть подвезёт.

День до вечера – ни тары, ни приёмщика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же гибнет. А мне в ответ разъяснение:

– Ты, Мария, не шуми шибко, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается.

– Это почему ж, – говорю. – Или мой договор недействительный, или моя рыба не из того же озера?

– А какая рыба-то? Окунь? Дак вот, – говорят, – ты сама трезво прикинь. При нынешней ограниченной таре, поскольку бондарей нет, мобилизованные, кому преобладание? Бригадному сигу и хайрузу (хайрузу) или твоему единоличному сору?

Баба я была безоглядная, заденут – все гужи порву!

– Я што, – кричу, – выбираю этот сор? Да с этим окунем маяты, чтоб он сдох, вроде не знаете. Будь мой здесь, вы бы так не разговаривали, а вынь да положь!

Пошумела я, как колокол соборный, побунтовала, душу отвела, а потом стоп: да ведь верно всё, законно, по расчёту. Бригада промышлять уходит за десять вёрст, на ямы, там и бытует. Приёмная цена хайруза пять рублей кило, а сига дак аж восемь пятьдесят. Мне на ямы не под силу, я до Долгого мыса-то и обратно на гребях дойду – руки всю ночь в плечах ничё не слышат. А под мысом – окунь да сорога, но и щука когда-нить. Цена же окуню девяносто копеек, а сороге и того чище – семьдесят. Чёрная рыба. Истинный сор! Какой с того заработок, посчитай, если одна соль шестьдесят копеек кило.

Да и то правда – знала я всё и прежде, чего ж теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно что. Но да обиды копить – с людьми не жить.

Дальше – больше. Май был, уж зелень выбросило, и вдруг занепогодило – ветра, ветра, – мокредь снежная, ночью берег аж гудит. Прокрадёмся с Олькой под Долгий мыс, там затишек, а обратно – но хоть матушку-репку пой. Повдоль берега, где помельче, – то на шесте, то бурлаками. Измокнем все, исхлещемся, я-то взрослый человек, а она что – ребёнок, девчонка. Дома плюх на лавочку, Катюша да Митька, как мураши возле, обувку сдёргивают, полушалок развязывают – сама-то уже вся.

Как-то накануне штормило сильно, приплываем, а сетей нету, меня так и подсекло. Стала багром шарить, подцепляю одну. Веретеном перекрученная, в траве да тине, ничего злее не бывает. Выудила остальные, а две так и канули.

Сели с Олькой под берегом, разбираемся. Да только подумать – сеть после такой холеры разобрать. Дешевле выбросить, да где новую взять.

И вода, ой вода, как железная, холодная, и сиверко будто с цепи сорвался, засвирипел. У Ольки шубёночка продувная, сгорбилась девка, траву дерёт, а трава злая, осочистая. Нет-нет да рыба попадётся, колючки растопырила, выдерешь – наплачешься. Глянула на её руки, как гусиные лапки. Брось, говорю, доча, побегай посогрейся, сама управлюсь.

Не управилась, верно, назавтра пришлось... Утром бужу её, она ни в какую. Я уж и к лодке всё стаскала – спит, в одеялко закаталась. Да тут ещё Савелий меня раззадорил, забыл корзину на берегу, её и смыло. Олька, кричу, ты встанешь или тебя скалкой подымать, бессовестную, да вгорячах одеялко с неё дерг!

А она... она лежит в рубашоночке, коленки под себя сгорбатилась, сжалась, а в глазах слёзы... Личиком дрожит и руки запикивает, как бы прячет.

Оборвалось во мне, беру их разжимаю, а пальчики все в язвинках, в язвинках, и ладошки разъедены, как банные.

Тут надо мной потолок расколосся, огнём по сердцу. Что я наделала, господи, господи... Куда гляжу, до чего дитя родное довела, баба безмозглая, нерадивая. Упала на колени перед постелью и зашлась: вспомнила, третьего дня Олька из рук блюдце выронила, а я её побила за это. И оттого – ещё пуще. Ребятишки испугались – и тоже в рёв.

Пропади, думаю, рыба, девчонку больше не поташу. Да и младшенькие без догляда – страх смотреть, перестыли, осопели. Как зверята голодные, то на подогретом сто раз, то вовсе всухомятку.

Однако же главное нас впереди караулило.

Питались мы с этой весны, считай, гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял (да робко росло,

земля тощая), а зимой что – опять рыба разного звания. И солёная-то, и вяленая, и пареная, а то ещё сушили, в ступах толкли, мука получалась.

Вторую зиму мой младшенький заумирал. То ничё, весёленький, а то кричит по всей ночи, аж синый весь, наразрыв. Я к нему: Митенька, Митенька, где болит, где вава, покажи ручкой, он только пуще того. Напою сушёной медуницей, он вроде утихнет. Значит, с животиком неладно.

А потом запримечать стала – он головку плохо держит. Или бежит-бежит да на ровном хлоп, упадёт. Тогда я что – в охапку его и к санитарке в пункт. Помяла та, послушала: – Тут, тётка Мария, моего дела нету, тут от питания всё, от рациону...

А войне конца-краю не видно, лютует фашист. И слышим, наподдали ему под Сталинградом, окружили – и в прах! Ну слава тебе, вздохнули мы в одно сердце: и на нашу улицу дождались праздника.

Да вот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело во мне всё, только и живу детьми, ложусь с маятою, как завтрашний день одолеть.

Солнышко припекать стало, я Митю укутаю и несу на пригревочек (ножки уж не ходили). Он сидит жмурится, а сам-то как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы до чистой воды, до первой зелени, а там уж мы не поддадимся. В апреле, только снег посогнало, я с ребятишками в тайгу, на болотины и согры – клюкву прошлогоднюю собирать. Отожму сок и пою им Митю.

Да ведь как у нас говорят: пришла беда – отворяй ворота.

Деда Савелий наш совсем обеспамятел. Иной день ходит здоровый, по хозяйству чё-то соображает, к ограде досочку прибьёт или тяпку наострит, или гвоздочки ходит выдирает да прямит – угомону ему нет! А иной...

Однажды нету и нету Савелия, куда старого удуло? Под вечер время, на пороге Вера Игнатьева, соседка через три двора, а за ней Савелий. «Принимай, Мария, своего блудного!» – «Как так?» – «А вот так. Спускаюсь с горы, а он у родника сидит, на колодезном срубе. Ты чёго, спрашиваю, деда Савелий, тут высиживаешь? А он на тебе: дорогу, говорит, забыл, где дом – не знаю!..» – Но дитё и только.

Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам наказ: за дедой присматривайте, на шаг со двора не пускайте!

Дней через десять или как (когда уже началась моя третья путина, ох!) возвращаюсь чуть живёхонька, а его опять нету. Я на ребятишек грозой: где деда, недоглядели, марш искать! Пошмыгали они по посёлку, да по-за огородами, вернулись ни с чем.

А уж сумерки, вызвездило. Вижу, дело худо, под-

хватилась и сама. Все дворы обегала, изругалась на старого. И на озеро, и по горе покричала. И наново по дворам, да ведь никто не видел его тот день. Ах, родимец тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела. Чуть обутрело – я снова да ладом, искать заблудшего. Полдня пролетала, пришла без ног, – нету старого.

Тогда я уж что – в контору: человек сгинул!

Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше, айда местность круг посёлка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу окрест огласили – никакого результата. Из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать.

Через неделю у самой руки пали: сгинул деда Савелий! Восемь с половиной десятков на свете прожил, мастер слыл в свои годы – на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки – его, Савелия Ильича, руки. Охотничьи избушки-зимники на сто вёрст по тайге – им рублены. И вот пропал, ни тебе следочка на земле, как ровно вознёсся, ой лихо какое!..

Да ведь и рассказанное – не всё.

Как-то вскорости полезла я в сундук с бельём, вижу: вроде не мой порядок. Предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозяйничали, да не должны, не балованные. И как кто меня под руку – толк! Лезу дальше, в уголок, где дедова одёжка, его чистое исподнее, а там пусто.

Брякнулась на сундук, сижу, в ум прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение: не потерялся деда Савелий, не заблудился! Сам ушёл, своим желаньем, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушёл!..

Уж и не знаю, может, моя тут вина, укорила его когда в сердцах ненароком, так не помню, а всё равно душой майся. И такое в голову хлынуло, сердце замозжило. Ушла в дровяник, села там и обжаловала своё горе.

Май сорок третьего стоял с густым небом, с дально. Мимо тропок ветреник зажелтел, под оградою крапиву уже щипнуть можно. Нащипаю крапивки, сварю своим, они не едят, окаянные, хнычут: ожалит!

Сойдётся яром к воде, а по воде черёмушный цвет, ровно чешуя играет. Мартышки уже прилетели (чайка у нас так зовётся), галдят, табунятся, пищу делят.

На исходе май, а и под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает. Старики наши об этой поре говорят: то, мол, на севере льды раскалывает. Да мне, молодой, только за вёсла сесть – самое лучшее согревательное.

Стала я с весной промышлять, иду и ружьё с со-

бой в лодку кидаю. Охотник из меня – смех один, сроду по-серьёзному не охотилась, а ну гогль белянский или шилохвость вывернет – неуж упущу? Бывает, над самой головой так и свистнут. Мне сейчас ничем брезговать не след.

Выходила из дому раньше солнышка, на сутёмочках, едва брежжит. Пока доплыву – и светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук – под днищем похлопывает. Гребусь так, чтоб наш белый яр по правую руку оставался. Его и в сумерки видать. И не оглядываюсь плыву, уверена – в аккурат на Долгий мыс попаду, привычно уж.

Руки знай работают, а голова в заботах на день. Перво, думаю, как вернусь, грядки край дорыхлить надо. Не то срам: у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, все грядки забило. Ребятишки, ох, обувкой вконец обносились, босые выскакивают, цыпки на ногах пищат. И чирей одолел, ничё не помогает. Ольку в пункт послать, мож втиранье какое дадут. Вчера мукой отоварили, а мука лёглая, так рассыпать бы на листе, проветрить. А тут саму чёрт под руку толкнул: стекло ламповое чистила да раздавила, ума не придам, где взять, а без стекла – копать, глаза за шитьём да починкой тупеют.

Ко всему еще камень на душе – дед Савелий. Рано-поздно, а Павлуша объявится – вера во мне какая-то смертная жила, – и тогда отписать ему придётся. А как писать-то? Ушёл, мол, отец и с концом. Как так ушёл, куда? Каково такое читать на фронте...

Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. Ни ветра, ни зыби, ходко иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом.

Тут возьми я и оглянись, далеко ли до мысу. Но – недалеко, рукой подать, снова гребу, а в глазах какая-то точечка, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое, снова обернулась, остро гляжу.

По правую руку наш берег, а по левую – черёмуховый мыс, коска песочная. Оинголь будто река – в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу, и вот оно: ровно живое что рябь гонит.

Налегла на вёсла, ближе. То ли конь через озеро плывёт, то ли тёлка, морда над водой стелется.

Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть?

И уже различаю: серое, срыжа, уши то торчком, то в лёжку. Сохатуха! Меня так всю жаром и обнесло.

Залихорадилась я, завертелась посередь лодки, как ужака на муравьище – туда, сюда. Шутка ли в деле, сохатуха!

Хватаю круче к мысу, ей напересек. А та уже при-

метила меня тоже, башкой закрутила и быстрее ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя.

На гребях итти – меня не испугаешь, по часу, бывало, плюхаю без отдыха (оттого и ладони, как наждаки, ребёнка погладить боюсь). А тут, что ты будешь делать, отмахала саженой сто, и то ли от азарта, то ли от суеты и спешки, вижу: всё, зашлась, задышка берёт, млею. Сама себя костерю – но Мария, но Мария, упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни и бывает.

Брошу глаза через плечо – вот он носок, а перед носком, знаю, долгая отмель; гляну через другое – вот она сохатуха, морда с холкой в струну, вода за ней аж ключом выбухла, – тоже знает, что против носка – отмель, её спасение.

Слёзы закипели во мне – от переживанья сердца, от неудачи. Упёрлась я пятками в укусины и из последних силёнок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Ещё саженой пятьдесят отмахала, это уже на износ; оборачиваюсь, воздух ртом хватаю. А волосы не покрыты, на лицо ливнем, не вижу сохатухи, ничё не вижу (коса у меня с молодости была толстая да длинная – садилась на неё). Волосы отгребая, глазами по отмели шарю – нету, по берегу – нету. Что за наваждение?

Тут слышу, лодка обо что-то торк! и враз фурчание – как бы из-под лодки. Оглядываюсь, а это она, голубушка! Лодкой по башке ушибло, она аж курнулась по уши. Вынырнула, ушами стригёт, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда, близко так, жутко даже. Ни когда в жизни так близко зверя живого не видела.

Оторопела, сию полоротая, ум отсекло – как быть? Ружьё в корме, да и чего им делать, на глубине-то?

А сохатуха и к корме повернёт, и к носу – лодку обойти. Я вёслами тоже – то вперёд загребу, то назад, загораживаю, а для чего, сама, убей, не скажу. Вот такие догонялки устроили.

Вода в озере чистая, проглядная, видать, как она всеми четырьмя ногами шевелит, а шерсть на ней дыбком. Гоняемся, гоняемся – и тут вижу, она морду задирает. Зубы ощерила, засипела, а круп все глубже в воду. Бросила я вёсла, вскочила. Чего ж это, неуж тонет?!

А она уже зубами воду хватает и на меня глазом косит. А в нём, господи... такой крик, такая мука... И сквозь зубы стоном...

Здесь уж я совсем из здравого рассудка выбыла. Куда робость отлетела! Подгрелась к ней, на край упала, охватила за шею, как бы удержать. Да мыслимо ли? И уж мелькнуло в отчаянности: да выплывай ты, животина окаянная, ступай себе, холера

с тобой, век тебя не видела и не надо, только выплывай.

Держусь за неё, обнимаю, а по ней дрожь, руками чувю. И дух, как от мокрой скотинки. Лодка с края на край – ходуном, того и гляди вместе курнёмся. И уж вконец огрузла она, ну никакого спасу; ладони мои по шерсти потекли-потекли...

И вдруг – откуда что! Как она морду свою горбатую вскинет да ударит! Лодка краем черпанула, а я в корму снопом.

Поднимаюсь, в висках бубенцы, а сохатуха аж до плеч из воды высигивает, да раз за разом, кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отмели.

Копытом – по лодке, отщепина так и полетела!

Лодка моя заболталась на волнах и – каруселью, а я сию ни жива ни мертва, локоть щупаю, отсушила падая.

Зверюга скачет, хрипит, донная муть за ней ключом, и уже берег вот он. А когда всеми четырьмя дна хватили, тут и пошла!

Всё во мне разом схлынуло, куда что. Отрезвела; уходит сохатуха, уходит!

Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, нужду свою разруху. Не было этого. Вроде никаких, ну никаких мыслей не было, а один голос души: чего ж ты, баба, скисла, чего медлишь!

Выдёргиваю из-под себя ружьё (аккурат на него локтем упала), подымаю, мушка прыгает, разбегаётся. Сохачью голову ловлю, за ухом верное место, это я знаю: Савелий Ильич, покойничек, много раз про охоту рассказывал.

И ведь мыслимое ли дело. Сызмальства в Бога не веровала, иконки в доме не держали, а здесь целую и губами шепчу: Господи, не дай промахнуться, Господи, помоги...

И тут на тебе! Вот так в створе – сохатуха, берег с откосом, выше черёмушник стеной. И вижу в момент, краем глаза (как бы и не я вижу!), выскакивает из кустов, из черёмушника, телёнок-сеголеток. От надо же!

Выскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком, аж уши встрёпываются. К матери бежит! Из себя такой рыжой, только рыжее, лобастенький, а копытца, как стёклышки.

Оторопела я, охнула. Не вижу телка, света не вижу, за что мне еще это наказание! Сжала душу в горошину, окаменела.

А он ровно почуял что, замер с разбежки, стоит привскакивает, носом-бирюлькой фукает, торопит! Выстрелила я...

Сохатуха башкой мотнула – и из воды, только песок ошметьями! Перебежала берег, мимо телка – и на откосок.

Промахнулась, Мария, промазала!

... А сохатуха впрыгнула на откосок, под самые кусты; впрыгнула и стала, как врытая: стояла-стояла да и повалилась тут.

... Не перескажу, как доплыла я до посёлка, спеклось во мне всё.

На подмогу особо уговаривать не надо было. Старики и бабы аж замолились на меня: как сумела да как осилила?

Вернулась с людьми на Долгий мыс к полдню. Сохатуха под черёмушником, как была, а телка нету. Нету телка! Думаю: слава тебе.

Взялись мужики разделявать, а он – вот он, из кустов голову просунул и глядит...

Ушла я к лодке, знобко мне стало что-то; легла ничком и лежала, пока не погрузились.

И ведь кусочка того мяса я сама не съела – не могла, хоть ты что.

... Среди лета уже, каким-то случаем, отыскался наш родименький, наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих промысловых избышек-зимников (нашел же дорогу!), весь в чистом, как щепочка высушен, и свеча в головах обгорелая.

БАГУЛЬНИК, ТРАВА ПЬЯНАЯ

Так я тебе скажу: что баба, что кошка – живучие. Бабу бей, бей, на другое место перетащи – оживела! Пересилили мы тяжкие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили, детишек сберегли, не растеряли, ни единого во всём посёлочке.

И вот он, желанье сердца нашего – май. Отпраздновали мы Победу, отликовали. Женщины наши, пьяненькие, попели песни на голосах, друг у дружки на плече выплакались, а утром похмелились слезами и опять в ляжку.

Через какое-то время, под вечер случилось, слышу – соседская девочка Настенька за калиткой глосит, как с печи упала:

– Тётъ Мария! Тётъ Мария! Беги в совет, телеграмма!

Я так и присела.

– Какая еще телеграмма, господи?!

– А я почему знаю! Анна Филипповна велела мне рысью!

– Чего ж не принесла?

– Дак телеграмма же! Расписываться надо!

Подхватилась я – и со двора. Бегу и обмираю. Сроду телеграмм боялась. Аж душа спекается: неуж с Пашей что? Последнее письмо в апреле было, перед самой Победой, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении, а как, чего – ни словечка. Всё бы ладно, да не его рука. С той поры опять ни слуху ни духу.

А тут на вот тебе – телеграмма!

Суеверная стала я за войну, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бог знает как долго, с полгода почти. Почтальонка всё мимо да мимо. А раз стою, руки так пальцами в замок сцепила, идёт почтальонка и еще издали письмо кажет: от Паши, жив родименький! С того и впало в сердце: сцепить руки – это мне кжданной вести.

И вот бегу в контору – ой, баба с глупинкой! – и одна заноза в голове – не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить!

Не помню даже – было солнце, не было, прибежала. Анна Филипповна за столом. Дымом пыхтит, на косточках перещёлкивает. Она у нас характерная была, самосад курила, нервы осаживала, на ней совет держался.

Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки сцеплены. Взробела окончательно!

Рвите, говорю, читайте.

А она, смотрю, улыбается. Чего, вроде, рвать, чего читать-перечитывать – и так знаю. Сама, поди, по телефону из района принимала, сама заклеивала! «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-весельный. Твой Павел». Она, родненькая моя, повторяет, а у меня в ушах только: встречай... твой Павел. Встречай... твой Павел.

И тут подскочила я: а сегодня-то какое? «Тринадцатое с утра было» – отвечает. Выходит, завтра?! Господи, если по-доброму, мне затемно выежжать надо. Брички-то есть незапростанные? – «Когда они были у нас, незапростанные! – Анна Филипповна мне: – Да ты лети на конный, к Брюхову, тебе выделяют. Такой случай! А чуть чего – от меня, скажи. Да ну! И без того дадут. Он что, Брюхов, – без соображенья?»

И верно – дали. Брюхов слова впроть не сказал, только постучал деревяшкой об пол в рассуждении. А когда уж помогал запрячь, так сказал:

– Поздравляю, Мария. Павел, кажись, у нас девятый будет?

Подъехала я к себе. Ребятишки мои уже вповал, спят. Ну ладно. Была у меня в запасе горстка муки, расшерудила печь, постряпалась на скорую руку. И только за окном стало зариться, бужу большеенькую, Ольгу. Она у меня в пятый уже пошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречать едем! Она спросонок тычется, не знаю, поняла ли, нет. Я тем временем Катю с Митенькой в охалку и на бричку, они, холеры, хоть бы стрепенулись. Укрыла, в соломку утискала всех троих – поехали, таборяне!

До станции Итатской сорок километров с чем-то. Сперва повдоль берега Оинголя, по таёжке, а потом

на крутой свороток – и по колкám, по колкám, на тракт. А уж по-за трактом – поля. Согровый низинный лес вперехлёстку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глазу схватиться не за что.

Едем-трусим, на тракт выбрались. Солнышко всплыло, подводы навстречу, редко-редко бортовая обгонит, пыль взобьёт. А пыль тяжёлая, росная – ведренный день будет. Спит моя дивизия, только головёнки по сололке катаются!

Ну – приехали. Показалась станция, посёлок большой, дома, паровозы гукают, угаром запахло. Подъезжаем, а там, насупротив вокзала, пустырёк. Весь, ну как есть весь подводами заставленный. И народу – как мураша. Чистая ярмарка! Раным-рано, часов шесть, а гляди ты!

По правую руку палисадик из ранетки. Привязала коня за столбец, бужу Ольку: встань, доча, присмотри, я сбегая поузнаю.

Торкнулась в одно оконце, другое – где там! Идёт в красной фуражке, я к нему: когда пятьсот-весёлый?

– Это какой? С западного?

– Ну да, оттуда, от Новосибирска.

– С западного неизвестно. На то и пятьсот-весёлый да ещё с западного! – это красная фуражка уже на ходу мне.

Чтоб те стрелило, думаю. Никто ничё не знает, вот порядочки.

Вдруг шум, гром – залетает на станцию состав. В брезенте весь, и парнишки на платформах, солдатики. Да все молодые, загорелые, гимнастёрки как в щёлке выбеленные. А состав без остановки – и на проход. За ним вскорости другой, и тоже только вихорь следом. И туда же, на восток. Что за оказия такая, война-то вроде в другой стороне, да и та кончилась.

Вернулась я к своим. Олька, дежурная моя, спит, я сена коню труснула – и тоже под бочок к ребятишкам.

Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. По разговорам, демобилизованный состав ждут. Кто-то на гармошке играет да какие-то забавные присказульки поёт. Бабы тут, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек – хоть метлой заметай, так и шмыгают, рады суете.

Дрёма меня не знаю как одолела. Лежала-лежала и сбредила: будто сию дома на приступочке, нитки на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а нитка возьми и порвись. Я свяжу только, а она опять. Смотрю на Павлушу, а он об одной руке и лица нету. Я как закричу и очнулась тут.

Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне у же, а въяве хочу увидеть Павлушину

лицо – и нет. Не получается. Плывёт в глазах. Забылось.

Тут гвалт, суета, закричали: демобилизованный подходит! Кинулись все к вокзалу, к линии, и я не усидела. Ребятишек поукрывала – и за всеми следом. Думаю: а ну знакомого кого встречу. Да и так любопытно – фронтовички возвращаются, победители, родные наши. Хоть глазком глянуть, на людское счастье порадоваться. И ещё мысль пала в голову: а вдруг и Павлуша тут. Ну – пересел там по пути или как, бывают же случаи.

Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разные. Сперва пассажирские, пять или сколько там, а подпослед простые теплушки. И везде – в дверях, окнах – лица, лица, лица! И все пожилые солдаты-то, в годах. Молодых и не видать. Не видать молодых-то! Старшие возраста, словом. Думаю: отвели войну родимые, живые вернулись!

Стоим вдоль линии, скучились и не дышим, господи. Каждому своего увидеть! Вагоны тихо так идут-идут. Тишина по толпе – вмёртвую, мне аж озноб по телу.

А невдалеке женщина, в платочке цветастеньком, кофта обшивочками – крестьянка обличьем, колхозница. Мальчонка возле, большенький уже. И вот как она стрепенётся, скричит: – Ваня! Ванюша-а! – и сквозь людскую кипень к вагону.

Тут и прорвало. Что началось! Крики, плач, слёзы. Гармошка было где-то вскинулась – сплюснули гармошку! Я тоже стою и вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, страдалицы вы и счастливицы. Праздник, день-то какой!

Ой да что тут было! На гвардейце одном сразу три женщины повисли и ни в какую (одна в годах, а те молодые). Он шагу не может, аж скраснел весь. А вокруг еще четвёртая бегаёт, девчонка, за юбки тех дёргает: «Папка, я счас, папка, я счас...» Смех и грех да и только.

Прошёл состав, вернулась я, ребятишки сидят в соломе, как галчата, суёжятся: где мы очутились? А Олька: «Где папка-то?» – «Едет ещё, говорю, наш папка, скоро приедет, ждать будем».

Пососкакивали они, запрыгали, у Митьки глаза нарастопырку, диковинкой ему всё. Я сразу наказ: от брочки никуда! Гляньте, какая беда народу, позаплутааете, а тут линия, паровозы, транспорт кругом, не наводите меня на нервы!

Прилегла сама, а уж не лежит. Смотрю, женщина мимо, две чекушки в руках. Я возьми и спроси: дают где или как?.. Ой, да знать бы – дак лучше и не спрашивать и не видеть чекушек этих!.. Ну, спросила. Она мне: да тут, в коммерческом, вон на горочке, выбросили.

Думаю: ага, ради такого случая не слётать ли мне? Раз-два, зарысила молодая да заполошная. Отыскала магазин, в самом деле дают.

Заняла, стою. И гляжу: финики выносят, а кто ещё горбушу. Ну рыба нам своя в глазах настряла. Думаю: возьму ребятишкам фиников, какое-никакое лакомство.

Больше часу стою, и обуяло меня беспокойство: а ну как поезд пришёл, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю, как там пятьсот-весёлый с западного? Нет, не слышать вроде.

Говорят люди «нет», а всё равно беспокоино. И стоять невмочь, и очередь бросить жалко, вот такую себе раскоряку устроила.

Но достояла, взяла – и чекушку несчастную, и фиников детишкам кило. Все денежки фукнула. А-а, думаю... Теперь вдвоём – заработаем!

Бегу обратно с горки – чуть не вперевёрточки. Солнце уже на макушке, жварит почём зря.

Прибежала, а поезда нет как нет... Да и ладно бы нет...

Прибежала я, а девчонки ко мне, хнычут: Митька потерялся! Мы, мол, искали-переискали...

Думаю: ох дитё это половину веку мне убавит. Чёрт на примусе, не ребёнок, наказывала же: никуда!

Покидала я свои покупки в бричку, провались они пропастью – и сперва в палисадик. Под деревцами тенёчек, люди и стоят, и лежат в ожидании. Спрашиваю про мальчишку, не видел кто? Нет, не видели. Я вокзал обскакала. Ну где ещё? Ударилась на станцию по путям. На какие-то склады натакалась, постовой там, автоматом заляскал – чуть не заарестовал, тьфу!

Вернулась, пот с меня ключом. И не знаю, куда ещё бежать, где блудную коровёнку искать. Может, в посёлок удрал, в улицы, за мной следом да и заплутал там. Надо лететь в посёлок.

И только успела подумать – вот оно тебе известье: пятьсот-весёлый на подходе...

Тут-то и завилась я в верёвочку!

Села, вскричала: ой, что же нам, девки, делать-то, рази разорваться. Ли за мальчонкой, ли отца, нашего папу долгожданного встречать?

Да ведь и в самом деле, доведись до любого, запричитает, поди!

– Вот чего, говорю, Оляка: оставайся, а мы с Катюшей на перрон. – У самой сердце так и замозжило: а ну-к Павлуша инвалидом возвращается (сон проклятуший!), выйдет с вагона, а помочь некому. Что он подумает?..

Оляка упёрлась и ни в какую: «Я тоже встречать хочу!» – Нет, говорю, сиди смотри Митеньку, вдруг прибежит, а нас никого.

«Тогда, – говорит Оляка, – я его отлуплю!» – Ой, ладно уж, говорю, отлупи, только не шибко, может, мальчишка и не виноватый.

Выскочили мы на перрон с Катюшей, и вот он тебе, пятьсот-весёлый, пыхтит-подкатывает. Глянула – батюшки! В вагонах битком, на площадках и того пуще. Всякого обличья – гражданские, военные. А кто из оторвиголов – и на крышу угнездился. В самом деле, весёлый, веселее некуда...

Повалили из вагонов, притиснули нас к заборчику, да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, стоим выглядываем.

И как увижу в военном – сердце так и рухнет! А поближе – нет, не он. И особо гляжу, которые на костылях. Втемяшила себе: раз из госпиталя, значит, на костылях или с пустым рукавом (в письме-то недаром чужая рука).

А Катюшка всё канючит: «Мам, я его признаю?» – «Признаешь, доча, почему не признать, ты только смотри востренько». – «А он нас?» – «И он нас, говорю, признает, у него наша карточка есть». – «А вот тебя он не признает», – это она мне вдруг. – «Почему же, доча?» – «А ты плачешь и некрасивая, а на карточке ты красивая, весёлая». – «Ой, правда, доча, умничка моя, дай я тебя опущу да вытрусь».

И стоим мы с ней, как две забытых сиротинушки, пассажиров уже никого, остались только, которм далше.

Стоим, а издали так, с того конца, прямит на нас в защитном кителе. За плечами вещмешок, в правой – чемоданчишко да на другой шинелка перекинута. Прямо на нас так и целит.

Задрожало во мне всё. И не признаю ещё глазами, а в каждой моей жилочке крик: он это!

Подошёл, чемоданчик с шинелкой с рук выронил и обнял нас – меня и Катеньку разом.

Обнял он нас, колючий наш папаня, а меня, глупую, лихорадит: господи, с чего давечь сбредила, будто лицо его в памяти позабылось. Да никогда... Ни в какую жизнь... Умирала бы, а каждую его кровинку помнила бы, с собой уносила...

Встретили, идём. Катюшка чемоданчик у отца перехватила, тащит как путёвая (кряхтит, а не отдаёт), я шинелку несу. Павлуша что-то спрашивает, я что-то в ответ – впопад, нет ли, и не соображу. Я, главное, бричку свою выглядываю, и уж бричку вижу, Оляку возле, а Митеньки нет. От беда так беда..

Но а дальше... Ох, дальше такой оборот вышел, такой оборот – только руками развести. Митенька уже взрослый стал, домом жил, а мы всё его, как соберёмся, так подзуживаем: а ну-к Расскажи, как ты папаню с фронта стретил!..

Ладно, подошли. Оляка увидела, как кинется отцу на шею, расцеловал он её и уже заоглядывался: где же сын-то?

– Да здесь где-то мотается, – бормочу, – сейчас съедем.

А сонцопёк кругом, спасу нет. В палисадике, вижу, тенёчек свободный. Говорю: «Павлуша, ты с дороги усталый, в тенёчке посиди, мы его съедем». Беру охапку соломы с брочки и под ранеткой трушу (там же ни травиночки!). А у самой голос рвётся... уж не владею собой...

Труснула я соломы, расклонилась и как-то так глаза вверх спрокинула... Как-то так вверх глаза спрокинула, а на ранете, меж веток, пяточка шевелится.

Батюшки-светы!

Я в сторонку чуть, где прогляднее, и вот он – весь тут, сыночек наш непутёвый. На сучочке сидит, голову на развилочку приклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязвы его, мальчишечку, только губёнка отдувается!

Упала я тут на соломку – смеюсь и плачу: «Гляди, отец, где твой сынок тебя встречает!»

Павлуша влез остороженько на дерево, сонного на плечо – и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех. И как задаст рёву.

Получилось-то как? Увидел мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом еще. Ну – поел не поел, тут слышит – ищут его девчонки. И вздумал, поганец такой, в прятки поиграться. Сидел-сидел, ждал-ждал, когда съедут, да и заснул не дождавшись...

Выехали со станции далеко уже за полдень. Девчонки к отцу лепятся. Большенькая, Ольга, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька дичился сперва – совсем папку забыл, – а потом тоже размяк, разбаловался даже. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал на брочке, пришлось приструнить.

А уж Катенька-лизуня – та на отце так висом и висела.

Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель расстегнул, смотрю я: схудал-то как, родимый. Ключицы хоть руками бери. Да ведь не в гостях был – в госпитале, а в госпиталях этих не шибко-то растолстеешь.

И всё хочу спросить, да всё робею: куда раненный был. Ноги-руки целые, голова, а письма сам не мог. Однако решила, спросила: куда, мол, раненный? А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня за плечо и: «Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен...» – сказал так, а я щекой прижалась к руке его и уж больше ничего спрашивать не стала.

Солнце в закат – мы к Оинголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий, Павлуша заволновался, говорит: «Останови, хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел».

Соскочил он, а я думаю: ага! Коня в сторону – и на покосную поляну, к стожку. Ребятишкам говорю: «Всё равно домой засветло не успеем, собирайте плавник по берегу, костёр распалим, ночевать тут будем!»

Уж они запрыгали, заверещали, а я смеюсь, дурчусь вместе с ними, сама себя не узнаю.

Распрягла, спутала коня, пустила пастись. И сама за ужин. Ребятишки вопят: купаться, купаться! Пускай и папка с нами искупается!

Да бегите, махнула, окупнитесь, хоть пыль с мордах смоете.

Ведёрко над огнём наладила, вышла на бережок, села. А мои внизу бултыхаются, визг, брызги, на отца верхом! Митенька-то голышом, Катюша в рейтузиках, а Ольга – та в рубашонке, ну как же, ей уже стеснительно.

А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький! Смотрю – через всю грудь белая борозда, а на ноге вдавлинка, как кто гвоздём ткнул да и осталось. А на спине так с блюдце вдолбина.

Искупались они, я ребят возле костерка усадила. Пожевали лепёшек, огурцами похрумкали. Отец американску колбасну консерву вынул – так давай сюда! Чаем с душианкой напоила. А теперь, говорю, вот ваш кулёк фиников, марш в брочку спать. – Мало соломы, сенца натеребите, не то к утру наго-тове околеете.

Остались мы вдвоём у костра, я чекушку достаю, протягиваю:

– Ну что, муженёк долгожданный, за возвращенье?

А он посмотрел как-то... Так как-то посмотрел, говорит:

– Неплохо бы, Мария, но мне нельзя.

– Да эт как так нельзя?

– Вот так. Выписывали, сказали: забудь.

– Да как это питьё? Глаза тока запорошить. Я вот сроду не пила, ты знаешь, и на май победный едва пригубила, а и то сейчас бы... Вон Фомихин Антон вернулся вовсе без ноги и глаз выстрелен, а так забудыривает, ой да ну – и ничё. А у тебя руки-ноги, слава Богу, целы, схудал, правда, на больничных рационах, но ведь дома теперь, в семье, быстренько в тело войдёшь, наберёшься... За встречу, Павлуша...

Ой да и правильно наша Анна Филипповна всё, бывало, подковыривает: «У тебя, говорит, Марья, язык – как молотильная палка. Молотит и молотит». К чему я, в самом-то деле, про Фомихина завернула, вроде как раззадорила.

Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал.

– Так и быть, жена, за встречу давай. Ну их, этих врачей. За встречу грех не выпить. Одну наркомовску приму.

Поужинали, разговориваем, да больше я. Павлуша только выспрашивает: чего мы тут да как?

И уж звёзды заяснили, ночь. Кузнечики стрекочут, конь невдали фырчит, хрумает. Холодком с озера. Ушли мы под стожок...

А за стожком – там уже некое, вроде сухой болотинки. Болотинка вся-вся, ну вся багульником оцвела. Цвет густой, белый с розова. И пахучий-пахучий, спасу нет, какой пахучий. Особо после ведренного дня, после зною. Походи по нему – пьяный сделаешься.

Павлуша забеспокоился, спрашивает:

– Чем это так пахнет?

– Да багульником, – говорю. – Забыл?

– Ага, забыл.

Я руку ему под нательную рубашку просунула – и сразу на шрам натакалась. «Больно?» – шепчу. «Нет, – тоже шёпотом, – наоборот, кожа как чужая, ничё не слышит». – «А тут?» – «И тут тоже...»

...Ой да исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все мои ночи бессонные, безмужние, все слёзы невыплаканные от меня отлетели.

Не знаю как – сон примааял, уснула. И вдруг – будто кто льду под бок. Павлуши рядом нету! А уж небо слиняло, зоречки рассеяло, пичуги впересвист, утро.

Вскочила на ноги, озираюсь. Берег и дорога вдоль берега, и покос – всё чисто, проглядно, а за стожком нашим, по болотинке, туман-ползун. И гляжу: Павлуша – о господи! – по туману тому уходит. Окликнула, а он – без вниманья. Кинулась за ним, бегу, а никакой то не туман – багульников цвет...

Догнала, остановила, а он так на меня... Ну как сквозь стекло. И с лица сменённый. Я страх испугалась! Обнимкой его, обнимкой, хочу повернуть, а никак: «Павлуша, чего ты, родимый, куда, идем обратно...»

А он, как мои слова не к нему, отстранил меня, а после вдруг спрашивает – да жутко так:

– Где Хряпунов?

Рухнуло сердце у меня.

– Какой Хряпунов? Никакого Хряпунова тут нету. Это я, жена твоя – Мария. Идём, родненький.

А он как окостенел, своё:

– Хряпунова ко мне!

Ой да лихо! Не могу с ним совладать. Нету здесь Хряпунова, твержу. Детки наши, никого больше. Идём к ним, к детям. Олька там, Катюша, Митенька, все спят. Идём проведаем.

И вот как я ему про детей затростила – Олька, Катюшка, сынок Митенька – он обмяк вроде, а я силком его, силком, чуть не таской – и назад к месту.

Уложила, он лёг, сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне, повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе...

Прижала голову, затылок прижала, он... он как дёрнется от меня да прискочит, ровно его проводом ударило!

Сел, а сам то землей возмётся, то весь как стенка. Скребнул по мне рукой, оттолкнул меня, а на мне рубашка была миткалевая – так на ремки и пошла! Он на четвереньках, ползёт круг стожка, за стожок, ну как бы от меня. Ползёт и стоном стонет. И головой мотает... И уполз.

Кинулась я, обежала стожок. И обмерла вся!.. Он на земле, а его бьет! Всподымя бьет, всподымя! Под ним кострига, бодылья покосные, он по ним грудью и лицом...

Подхватила голову его на колени себе, держу, крепко держу, аж руки отерпли. Бился-бился, струной напряживался, а после стал притиха-ать.

Остороженько волосы ему на затылке подняла... Подняла-то я волосы, а там пролысинка, с монетку величиной. А вместо кожи – пластиночка серебряная серебрится.

...Уснул он головой на моих коленях. Укрыла его и сама легла. И уж пробудило меня окончательно солнце, щеку подожгло. Как-то так пробудилась, хорошо, тихонько-тихонько, будто поплавочком всплыла... Глазами туда-сюда – ни Павлуши около, ни ребятишек в бричке!

Да тут голоса вдальеке, с соседней луговинки. Смеются, слышу, перекликаются. И Павлушин голос тоже слышу.

Ой, да сроду поздно так не просыпалась!

Привстал на локоть, гляжу. Возвращаются они, скачут все вчетвером, голосишки наперебой.

Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы моё выстраданное. Отец девчонок то одну закрожит, то другую, они вижат, довольнёхонки.

А Митенька впереди, как мячик, в кулачке что-то, издали кричит:

– Мамк! Ты спишь да спишь, а мы с папкой жука поймали – рогастова, щекотится!

И Павлуша, Павлуша-то мой... китель нараспашку и лицом такой светлый, улыбается. С добрым утром, с веселым днем!

Господи, или приснилось мне ночное, сбредилось?

Подходит он, а по глазам видать – не помнит ничего! Я скорехонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Ну и ладно, ну и хорошо. И я ничё не помню, да и не было ничё. Истинно, что приснилось.

Гляжу на него, родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу, через висок ссадинка, которую, знать, я так и не зацеловала.